

*Т. С. Злотникова**

ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ МИФА О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ**

Статья посвящена проблеме перекодирования мифа, поставленной в книге В. Кантора о философии и судьбе Н. Чернышевского. Поскольку для российского самосознания и массового сознания в равной мере значимы мифотворчество и разрушение/низвержение мифов, автор последовательно анализирует текст и контекст исследования Кантора в соотношении с контекстами жизни Чернышевского на персональном и социокультурном уровнях. В междисциплинарном дискурсе актуализирован концепт «русский европеец», обращено внимание на парадоксы и «странные сближения» судеб Чернышевского и Пушкина, Некрасова и др. Доказывается, что в работе Кантора благодаря инновационному научному дискурсу судьбы Чернышевского выявлены существенные обертоны, характеризующие массовое сознание жителей России как империи с провинциальным модусом.

Ключевые слова: массовое сознание, миф, перекодирование, контекст, текст, русский европеец, Кантор, Чернышевский.

T. S. Zlotnikova

RECODING OF THE MYTH ABOUT N.G. CHERNYSHEVSKY

The article is devoted to the transcoding of the myth set out in book V. Cantor about the philosophy and the fate of N. Chernyshevsky. As for the Russian identity and mass consciousness equally important mythmaking and destruction/overthrow of myths, the author consistently analyzes the text and context of the study of the Cantor in relation to the contexts of life of Chernyshevsky on personal and socio-cultural levels. In the interdisciplinary discourse actualized the concept of "Russian Europeans", attention is drawn to the paradoxes and "strange convergence" of the fate of Chernyshevsky and Pushkin, Nekrasov, etc. Prove that the Cantor thanks to the innovative scientific discourse of the fate of Chernyshevsky

* Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры культурологии, научный руководитель Национального исследовательского центра «Мир русской провинции», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», Ярославль, Россия; zlotnts@rambler.ru

** Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-18-01833-П «Текст и контекст массовой культуры: российский дискурс»).

revealed significant overtones that characterize the mass consciousness of inhabitants of the Russian Empire with the provincial modus.

Keywords: Mass consciousness, myth, recoding, context, text, Russian European, Cantor, Chernyshevsky.

Едва ли не извечная проблема, воспринимаемая остро и подчас болезненно в отечественной массовой культуре: *революционер* — разрушитель основ (а значит, *мифов*, на которых привычно строится жизнеустроительная деятельность социума), протестующий, по крайней мере недовольный, раздраженный и все сущее отрицающий человек. Вдвойне революционер — тот, кто не просто спонтанно действует (продукт спонтанности и легковерия, присущих массовому сознанию), но тот, кто формулирует, обосновывает, доказывает и, особенно, образно подкрепляет свои... призывы к изменениям. Причем совсем страшно, если интеллеktуал призывает к изменениям ментальным, смыслополагаемым, а масса эти призывы воспринимает прямолинейно: как призыв к радикальным изменениям в социальном плане.

Фигура Чернышевского в отечественном массовом сознании, формировавшемся у нынешней российской публики с детства (поскольку роман «Что делать?» долгое время входил в школьную программу по литературе), — это именно фигура, так сказать, дважды революционера. Он, как считает публика, не только создал образ нового — странного — человека, Рахметова, с которым связаны представления о попытках спать на гвоздях, но и сам «что-то такое революционное» предпринимал, иначе зачем было его отправлять в многолетнюю ссылку?

Отметим попутно, что мотив трансформаций российского хронотопа, слома и изменения *рубежей* жизни излюблен как массовой публикой, так и интеллектуальной элитой. Но природа возникновения этого мотива весьма редко рефлексирована как значимая в целом и характерная для России в частности.

Для российского самосознания и массового сознания едва ли не в равной мере значимы мифотворчество и разрушение/низвержение мифов. Мысль В. Кантора (далее, для краткости, ВК) о том, что недруги Чернышевского (далее, для краткости, как и у автора книги, НГЧ) творили из него миф, который должен был разрушить пietet по отношению к реальным свойствам и предпочтениям человека, парадоксальна не только по сути, но имеет качество некоторой переоценки умственных и организационных возможностей этих самых противников. Полагаю, додуматься до такой изысканной интриги могли только весьма искушенные и последовательные люди, а противники Чернышевского вряд ли обладали обоими этими свойствами разом.

Общие соображения, рожденные книгой ВК [1], касаются нескольких вопросов.

Это, как ни странно, прежде всего вопрос о жанре сочинения ВК. Автором жанр не определен, причем, уверена, сделано это не по случайности, а намеренно, ибо в аннотации говорится о «книге», а по ходу текста даются ссылки на работы других авторов, там есть и научная биография, и статьи, и эссе. У самого же ВК пафос сопереживания рождает и романский нарратив, возникающий при описании жизни НГЧ в ссылке, и публицистические фи-

липки при характеристике предательских наветов, и строго документальные ссылки на свидетельства современников, и академически выверенный дискурс философских сочинений. Да, жанр издания намеренно автором не определен: это и роман (о судьбе), и трактат (об идеях). Вспоминается известный у нас в стране круг исследований, не имеющих признаков единого и просто понятного жанра: произведения М. Бахтина и Ю. Карякина о Достоевском, романы Ю. Тынянова — причем не «Кюхля» или «Смерть Вазир-Мухтара», а «Пушкин», который то называют романом, то не называют «никак»; можно вспомнить многочисленные пограничные в жанровом отношении сочинения о писателях, художниках, актерах, ученых (известные серии ЖЗЛ и «Жизнь в искусстве»), но представляется особенно показательным сочинение Б. Окуджавы «Глоток свободы» с его странным подзаголовком «Повесть о Пестеле» и реальным, выведенным в центр повествования «бедным Авросимовым». Таким образом, у сочинения ВК хорошая родословная, но определенности в понимании жанра это не прибавляет, напротив, усугубляет таинственность жанровой принадлежности рассматриваемого *opus'a*. Хотя понятно главное: поскольку в центре повествования не просто ученый или политический деятель, не просто литератор или христианский мыслитель, но — *культурный герой*, жанр можно было бы назвать мифом, если бы сам автор не обозначил собственный замысел как попытку демифологизации.

Важен и вопрос о приоритетах, явно заметных у автора-ВК. Так, скажем, для него *не* является приоритетом эстетика НГЧ, хотя для многих в России, в противовес навязанному романному («Что делать?») и драматургическому («Мастерица варить кашу») творчеству, наиболее значимой всегда была эстетическая теория. И до сих пор хорошо воспринимаются студентами рассуждения НГЧ об относительности прекрасного в связи с цветом лица крестьянки и аристократки. А вот для ВК приоритетом стали даже не социальные построения человека, чьим невольным «грехом» оказалось навязанное ему политическое влияние на неокрепшие умы, а замешанные на античных, сократовских помыслах христианские мотивы (недаром слова о том, что на допросе в Сенате НГЧ «давал такие же ответы, как Спаситель Пилату» ВК выделяет шрифтом [1, с. 353]).

И важен извечный вопрос читателя и по сути единомышленника: почему так много (и, как оказывается, вполне убедительно) внимания уделено интерпретациям Розанова как человека, воспринявшего НГЧ, настолько, что даже название книги содержит именно розановскую, несколько наивную и откровенно мелодраматическую фразу «срубленное древо жизни», — тогда как лишь однажды, бегло и без серьезного внимания, упомянуты известные романы В. Набокова, «Дар» и заодно «Приглашение на казнь». Явно набоковская линия и интерпретация в книге *не развернута* с определенной мыслью. Как говорил один из персонажей «Ромео и Джульетты», «я буду грызть ноготь по их адресу», т. е. не-упоминание Набокова в остальном востребованном ВК колоссальном литературном, политическом, научном контексте, о котором мы скажем особо, надо понимать как своего рода наказание Набокова и всей его семьи, о роли которой в судьбе НГЧ в свое время не без эпатажирующей лихости писали наши современники [2].

Вряд ли ВК столь наивен, что с надеждой на понимание обращается к массовому сознанию в его актуальном опыте. Но он вполне определенно дискутирует, если не воюет, с массовым сознанием, как современным самому НГЧ, так и позднейшим, в котором был сформирован образ дидактично-прямолинейного революционера (правда, революцию не «сделавшего», но это и неважно), провозвестника «новых людей» (которые на самом деле для НГЧ были в своих жизненных принципах «продуктом» не беспочвенных симулякров, но соотносились с древнейшей христианской традицией, ставшей для НГЧ единственным нравственным императивом). Пафос полемики сформирован реальной социально-нравственной и научной коллизией («Последние сто лет, после победы большевиков, мы переживаем странное отношение к Чернышевскому» [1, с. 488]) и силен в книге до чрезвычайности, поэтому *низвержение мифа, опровержение мифа, даже антимиф* — это одна из главных содержательных установок сочинения ВК. Однако чтобы работать с мифом, его надо не просто знать как таковой, но и владеть приемами конструирования и декодирования мифа, т. е. в миф необходимо сначала погрузиться, пережить его, а затем разрушить его, да еще, если повезет, на его основе сотворить новый миф. В частности, именно новый миф предстает в любопытной проговорке ВК, который совершенно в современном нам духе называет НГЧ «звездой оппозиции» [1, с. 492].

Миф НГЧ, выросший из многообразия *контекстов*, о которых будет сказано ниже, и основанный на одной из важнейших для ВК идее «*русского европейца*», — это триединство, составившее основу полутысячи страниц книги. И это не просто триединство, где каждая составляющая существует спокойно и самодостаточно, нет, это клубок соединяющихся и невероятно совпадающих ситуаций, случаев, суждений, поступков, реплик. В силу чего, как мы дальше попытаемся показать, то и дело в тексте книги возникают обертоны: контекст выталкивает из себя новый обертон мифа, «русский европеец» прорастает то как часть контекста, то как самоценный миф; миф, казалось бы благополучно воспринятый и даже опровергнутый, оборачивается своей противоположностью, и делает это настолько решительно, что впору становится говорить об антимифе. Стоит довериться автору книги о судьбе НГЧ, и переплетения известного и неожиданного, бесспорного и полемичного сложатся в новую канву судьбы, хрестоматийно засушенной школьными учебниками многодесятилетней давности.

Контекст сочинения ВК разнообразен по своему составу, и потому, скорее, можно говорить не столько о *контексте*, сколько о *контекстах* — во множественном числе. Это и контекст жизни НГЧ — люди, научные и социальные проблемы; и контекст мировосприятия автора сочинения о жизни НГЧ — другие люди, в дополнение к первым, и другие проблемы, инспирированные первыми...

Прежде всего интересно увидеть, кто для автора истории о судьбе НГЧ составляет круг если не соавторов, то участников размышлений и пониманий. Весьма часто — Н. Бердяев и В. Розанов, суждения которых становятся камертоном в характеристике нравственных свойств НГЧ и его поступков, поворотов его судьбы. Прежде многих — Сократ, причем не только в пате-

тической версии (НГЧ женился на дочери человека, носившего имя Сократ, что совершенно невероятно и невероятно же эффектно), но и в версии иронической, когда разговор об избраннице целомудренного молодого человека, легкомысленной, чтобы не сказать грубее, Ольге Сократовне, начинается с упоминания о... женских банях имени Чернышевского в Ленинграде начала 1970-х годов. Патетика отношения к человеку, способному на любовь, сродни подвигу, накладывается на странный, казалось бы, контекст, в котором появляются великие современники, Белинский и Некрасов, но не как политические соратники, не как прогрессивные мыслители — об этом будет в свое время, но позднее, — а как антиподы в их отношении к женщинам. Антипод-Белинский, в отличие от которого НГЧ «в бордели не ходил» [1, с. 91]. Антипод-Некрасов, которому посвящено немало суждений и упоминаний. Антипод-Герцен, который рассматривается не только в политической плоскости («он не был ни политиком, ни государственным деятелем, он был мечтателем, а в мечтах все просто делалось» [1, с. 220]), но и в нравственной, как человек иных принципов в поведении с женщинами.

Некрасов, вопреки сложившейся в массовом сознании традиции восприятия его как друга-благотелья-соратника-покровителя, оказывается в антимифологизированной версии ВК едва ли не прямым виновником утраты текста романа «Что делать?», а история этой утраты и подзаборного обнаружения по сути выброшенного из дрожек текста рассказана подробно и убедительно. Герцен же является таким человеком-контекстом, который постоянно оттеняет скромность и стойкость, жертвенность и разумность, а главное — неагрессивность НГЧ рядом с безнаказанными, поскольку — с иных берегов, резкими словами и несовершенными действиями. Чего стоит такой четкий и обидный, в каждом слове определенный пассаж в начале книги, где фигурируют, с одной стороны, НГЧ и с теплотой воспринимаемый автором, ВК, его двоюродный брат А. Пыпин, с другой же стороны — А. Герцен и Н. Огарев: «Два барчука-бастарда хотели разрушить Россию как государство, а два юных студента-разночинца хотели ее реформировать и строить» [1, с. 90]. Полагаю, текст книги вполне определенно представляет личные пристрастия ВК в отношении контекстуально связанных с НГЧ людей, поэтому негатив в отношении Герцена или откровенного доносчика Костомарова-младшего, подозительно-осторожное отношение к Некрасову и Тургеневу прочитываются, как прочитывается и несколько опасливое отношение к Достоевскому, поскольку ВК, видящий параллели и переклички, не склонен сравнивать художественное совершенство произведений двух авторов, дабы не принизить НГЧ.

Среди контекстуально важных фигур книги оказывается любимый обоими, и НГЧ, и ВК, человек, по сути alter ego первого — Добролюбов («Добролюбов был волгарь, как и Чернышевский, из Нижнего Новгорода, сын священника, семинарист» [1, с. 200]). Не слишком заметное место в контексте, словно автор не до конца уверен в том, насколько близки и важны в их прижизненной взаимности эти люди, занимает современник разночинца (социальный статус НГЧ постоянно подчеркивается) и, что, с нашей точки зрения, особенно важно, ровесник, — граф Л. Толстой, интересующий не только как мыслитель, но и как человек своеобразного сексуального опыта.

Наконец среди контекстуально значимых персон ВК, как представляется, не слишком привычно для нашей филологической и философской традиции, выделяет Пушкина, вполне определенно говоря: «рифмовка с пушкинской судьбой у Чернышевского удивительна» [1, с. 400] и прямо ссылаясь на Пушкина («бывают странные сближенья» [1, с. 456]), упоминая о михайловской ссылке как о своего рода убийстве и давая возможность сравнить путь НГЧ туда и обратно. К числу странных сближений, сделанных — представляется, что впервые — ВК, видится судьба Маяковского как поклонника НГЧ (читал перед смертью «Что делать?») и человека, воплотившего уверенность ВК в том, что «культура пронизана связующими нитями, незаметными поверхностному взгляду» [1, с. 415].

Однако есть еще один значимый, хотя и не расширенный специально ВК мотив, на стыке двух обозначенных нами проблем: *контекста и мифа*; это мотив погибшего творца («погиб поэт», по Лермонтову, «оклеветанный молвой»). В логике книги ВК, НГЧ был оклеветан, правда, абстрактной «молвой», лишь во-вторых, а во-первых — современниками, от Костомарова до императора, и последующими интерпретаторами, сделавшими из него непримиримого и жестокого революционера, чуть ли не бомбиста. Но, следуя этой же логике, по прочтении книги зададим вопрос о том, какой именно молвой и по какому поводу был оклеветан Пушкин, не имел ли в виду гениально прозревший интригу юный Лермонтов то самое, хрестоматийно закрепленное вчитывание политических интенций в пушкинскую дуэль, что превратило утратившего смысл жизни и творчества поэта в мученика самодержавия?

И — о самом отвратительном в контексте. Казалось бы, зачем было уделять такое внимание мелкой, малозначимой фигуре В. Костомарова, которого автор книги о НГЧ ставит тем не менее в один ряд с властью имущими гонителями — императорами, министрами? Ни о ком более не говорится таких злых и унижительных слов: «сумасшедший и трус, безумец и сикофант, лжесвидетель и клеветник» [1, с. 295]. Но для исследования, каковым — по своему жанру — является книга ВК, важно внимание к каждой, в т. ч. неприятной и, на первый взгляд, мало значимой детали и фигуре.

Свойство автора книги — говорение *не о концепциях, сочиненных людьми, а о людях, живших в контексте друг друга и, между прочим, рождавших концепции*. В книге звучит интонация человека, погруженного в судьбы и быт, помнящего, что без быта нет судьбы, даже если действующий субъект не признается в этом самому себе. И здесь следует упомянуть о собственном, ВК, отношении к контексту, о котором в самом начале книги он упоминает, приводя два крыла-списка людей (друзей, соратников, единомышленников, с одной стороны, идейных противников и врагов «по жизни» — с другой, а также последующих, мысленных «поклонников»): «если враги и противники тоже считаются» [1, с. 9].

Если же пойти дальше, от персонального уровня контекста к социокультурному, то этот контекст составят концентры: мировая культура и неповторимо и специфично рассматриваемая русская.

В пространстве мировой культуры существует юный НГЧ, благословляемый на учебу домашней иконой — списком с Рембрандта, даже приведен-

ным у ВК; упоминание диккенсовской семейной ситуации, гумбольдтовских параллелей, не говоря о философской традиции, заслуживающей отдельного рассмотрения; здесь и эпитафия из «Гамлета» во фрагменте, связанном с мнимым сумасшествием НГЧ и вызывающем в памяти сумасшествие Чаадаева. Это все *мировое*, что позволяет развить тему «русского европейца», последовательно разрабатываемую ВК и парадоксально, но убедительно явленную в книге об НГЧ.

А *российское* — это прежде всего провинция, и волжская, связанная с молодостью, и северная, связанная со ссылкой. Солидаризуясь с постоянно вспоминаемым Бердяевым, ВК указывает на то, что «общественная среда Чернышевского — приволжская провинция, врачи, инженеры, духовенство», а Волгу, солидаризуясь с не менее часто упоминаемым Розановым, именуется «русским Нилом» и перечисляет волжский, персонифицированный контекст, от «казанской помещицы» Екатерины II, через политиков и философов разных поколений, до современного актера О. Табакова [1, с. 8–11]. Это, в частности, глухомань-Саратов 1830-х гг., о котором из естественного такта Кантор не приводят знаменитое грибоедовское «к тетке в глушь». Но это и «тоска от провинциальной жизни», которая, по версии ВК, человека с сильным характером не привела к запоям, хотя, как несколько наивно, с нашей точки зрения, полагает автор книги, «мальчик еще не может чувствовать себя провинциалом» [1, с. 49].

Автор книги и сам видит в русской провинции маргинальность, которую вежливо называет склонностью «к сумасшедшим идеям» (хотя и ставит работу юного Чернышевского над машиной, избавляющей человечество от материальных нужд, рядом со штудиями Ползунова, Кулибина, Циолковского [1, с. 62]). Недаром он говорит об искушении изобретавшего вечный двигатель провинциала НГЧ как о попытке провинциала преобразовать мир («вела его провинциальная вера в чудо и свои силы» [1, с. 88]). Естественным ВК видит сближение именно в провинциальной тесноте интеллектуалов, НГЧ и оказавшегося его антиподом Костомарова-старшего. Но особо акцентирует идеологему провинции в связи с текстом со спорным авторством, «Письмом из провинции», имея в виду не текст Огарева 1857 г., а другой, 1860 г., призывавший к топору и приписывавшийся НГЧ. Наконец, хотя по сути это имеет далеко не последнее значение в книге, ВК соотносится с провинцией в ее многослойности, рассматривая в этом качестве не только Саратов, но коллизию ссылки, когда можно было отправить в Вилуйск, а потом вернуть в Астрахань; здесь провинция — своего рода «мертвый дом» («не просто вне столицы, не просто в провинции» [1, с. 373]).

Обозначим и ту часть контекста книги ВК, которую и контекстом-то называть вроде неловко в силу значения, которое имела эта часть жизни для самого НГЧ: *жена*.

«Для Чернышевского, — пишет ВК, — женщина всегда права, в этом нельзя не увидеть отголосок идеи вечной женственности» [1, с. 113]. В демифологизации НГЧ и сотворении антимифа *женский вопрос* имеет два грани: грань отношения к женщине (–ам) со стороны НГЧ, мужчины, философа, литератора, и грань взаимоотношений с женой.

Как это ни странно прочитать в книге о человеке, аскетизм, строгость, даже чопорность которого стали привычными в восприятии его личности, «Чернышевского влекло к молодой жене приятеля», поэтому автор предлагает «затронуть без лицемерия и ханжества тему физиологических попыток нашего героя как-то вырваться из плена мужской физиологии, давящей на него» [1, с. 97]. В книге фигурируют упоминания о любовных коллизиях современников НГЧ, включая его «духовного сына» Добролюбова, который «обожал разных женщин и, в отличие от старшего товарища, бесконечно менял своих пассий» [1, с. 241]. Фигурируют и вполне неожиданные коллизии в жизни самого НГЧ, обсуждаемые в контексте «эротологии Чернышевского» [1, с. 109], упоминается пережитый в молодости «ряд глубоких искушений» [1, с. 87]. Напомним, что перекодирование мифа о творческой личности в современной науке часто происходит именно на линии обсуждения интимной жизни; так было с мифом об А. Чехове как скромном русском интеллигенте в книге известного английского исследователя Д. Рейфилда, который с пристальным, чтобы не сказать нездоровым вниманием старался показать многочисленные и неуспешные любовные коллизии и физиологические проблемы русского классика [3].

«Русский европеец», концепт, сформированный В. Соловьевым, подержанный некоторыми отечественными мыслителями, впрочем, скорее, на декларативном, чем на аналитическом уровне, — чрезвычайно важен для ВК. И потому в саратовском разночинце, вилюйском ссыльном, мифологизированном революционере автор книги видит, хочет видеть, обнаруживает черты именно что русского европейца. Человека образованного, знающего несколько иностранных языков, мыслящего свободно и выражающегося некатегорично, как мы бы сказали в российской традиции, интеллигентного (вряд ли можно оспорить имплицитное представление о том, что русский европеец — это именно интеллигент), понимающего смысл и ответственность выбора как экзистенциально детерминированной ситуации (пусть говорится о выборе в связи с житейскими ситуациями, но коллизия понимается как значимая). С одной стороны, упоминается психологически значимый признак русского европейца, да еще и «мыслителя» — самоирония [1, с. 27], хотя и не без пристрастия к иронии, которая, скажем, была «направлена против псевдопатриотических упоений допетровской Русью» [1, с. 190]; с другой стороны, отмечается интеллектуальное, даже, скорее, ментальное свойство НГЧ, знавшего не только европейские языки, включая латынь, но и восточные, что отмечается в примечаниях, но не проходит мимо внимания исследователя.

В чем для ВК Чернышевский — именно русский европеец? Позволю себе сослаться на первоисточник понятия, значимый для самого автора книги и не всегда и не всеми воспринимаемый в полном и четком смысле: «Что такое *русские* — в грамматическом смысле?» — задавался вопросом В. Соловьев, да, впрочем, как бы и не он сам, а персонажи сочиненного им диалога, в силу чего появляются нюансы интерпретации. Последняя же заключалась в том, что к прилагательному «русский» предлагался простейший вариант, «человек», но в позднейший философский и, в меньшей мере, социально-политический оборот вошла фраза-ответ: «...настоящее существительное к прилагательному *русский* есть *европеец*. Мы русские европейцы». А вот расположенная чуть далее

у Соловьева реплика почти не воспринята интерпретаторами, хотя, полагаю, для ВК она как раз является весьма существенной: «Я так же неоспоримо знаю, что я европеец, как и то, что я русский <...> Понятие европейца должно совпасть с понятием человека, и понятие европейского культурного мира — с понятием человечества» [4, с. 696–697].

Именно таким русским европейцем, понятие о котором совпадает с понятием человека, пытается показать Чернышевского ВК, который завершает главу, так сказать, о- жизни-без-жизни-и-надежды краткими фразами, то ли эпитафией, то ли панегириком (приведем одну, главную, на наш взгляд): «Честь и достоинство русского европейца были непоколебимы» [1, с. 438]. Подчеркнем то, что составляет пафос исследования и повествования ВК: Чернышевский как образец русского европейца не кликушествует и не навязывается коллегам, знакомым, друзьям и женщинам, а также собственному сыну (вот здесь — даже напротив); он проявляет сдержанность, столь редкую у отечественных провинциалов, которых он во многом олицетворял; он страдает и готов страдать, но проявляет терпение, которое не считает героизмом, лишь — естественным нравственным и физическим качеством (вот почему, как ни покажется странным, сон на постели с гвоздями у персонажа НГЧ в книге ВК не становится предметом сколь бы то ни было серьезного внимания). Недаром и в связи с жертвенностью НГЧ исследователь, не раз возвращающийся к не в России рожденной идее разумного эгоизма, ссылается не только на излюбленного Чернышевским Фейербаха, но и на Кассирера с его рассуждениями о Гельвеции. Характерным для книги ВК представляется и то, что по мере развертывания жизненного *контекста*, нравственного и политического, по мере обнаружения разных граней *мифа* НГЧ мотив *русского европейца* звучит все глуше, отступает все дальше.

Русский европеец — и для ВК, и для любого человека, который попытается проинтерпретировать мысль Соловьева и применить ее к российской действительности, — это очевидно *маргинал*, но в своей маргинальности, хотя и не обязательно вследствие ее, *избранный*. Своего рода объяснением коллизии с маргинальностью русского европейца становится мало известное и вовсе не раскрытое применительно к Чернышевскому слово «эфиоп», об употреблении которого Чернышевским в его же тексте напоминает ВК [1, с. 27], смысл которого связывает и с простодушием простолюдина, и с постоянно звучащей «пушкинской» корреляцией, соотнося мысль о странном — «не странен кто ж» — провинциале с уже упомянутой его неродовитостью.

Важное сравнение, выводящее на понимание НГЧ как русского европейца и рождающееся из хода мысли ВК об НГЧ, это, естественно, Сократ, на шутку судьбы с которым (имя отца жены) уже было обращено внимание, причем, несмотря на тривиальность этой шутки, в ней странно не видеть судьбоносного оттенка. Русским Сократом Чернышевского, как будто, не называли; но ВК в своей «Интермедии» — есть такой фрагмент в книге, он прихотливо и убедительно расположен между главами об основной части жизни НГЧ и его формальным освобождением из ссылки — сопоставляет описанный современником отказ НГЧ от бегства из ссылки с описанием высказывания Сократа, т. е. с речью «божественного учителя, которого он чтит наравне с Евангелием»

[1, с. 439]. Античная линия, с точки зрения ВК, существенно важна для НГЧ; недаром автор книги один из подзаголовков делает едва ли не провокативным: «Платон и Аристотель как программные фигуры современности» [1, с. 125], а по ходу своего исследования подчеркивает, что НГЧ предпринял едва ли не первую в России попытку «этико-социологического прочтения эстетических взглядов Платона» [1, с. 127], в котором, в свою очередь, увидел «предвестие немецкой романтической школы» [1, с. 129].

Ненавязчиво, словно бы следуя самой логике жизни и мысли НГЧ, ВК вводит русского человека в «компанию» немецких философов, писателей, образцовых мыслителей, в частности, Фейербаха, с которым ученому видится немало даже личностных, биографических совпадений, он упоминает о непростой связи с его идеями в диссертации НГЧ, естественно добавляя к ним русских предшественников и современников, вот прямо-таки списком: «Лессинг, Гёте, Шиллер, Кант, Гегель, Пушкин, Гоголь, Белинский» [1, с. 151], из которого, как видим, достаточно последовательно исключаются Герцен и Некрасов — фигуры негативные либо спорные для ВК, а также Достоевский, «зарифмованный» в плане судьбы, но не творчества. Русский европеец, НГЧ, по Кантору, Европу любил если не как идеал, то как антропологически «пригодную» среду («...слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить», цитирует ВК Чернышевского [1, с. 225]); НГЧ был способен осознать и сформулировать в дореформенной России кантианский тезис о человеческой личности, выше которой «не принимаем на земном шаре ничего» [1, с. 173]. Сам же ВК, может быть, и не в духе НГЧ, но в своей собственной логике отмечает важное суждение Ф. Энгельса, сделанное с «европейским недоумением» [1, с. 405], используя прилагательное «европейский» как свидетельство интеллигентности, интеллектуальной и нравственной состоятельности.

Согласимся с ВК в том, что «жизнь Чернышевского все время шла на грани мифа» [1, с. 44], как создававшегося при его жизни знавшими или в чем-то подозревавшими его людьми, так и после его смерти. «Вполне мифологическая фигура», — говорит автор книги в момент, когда ссыльный НГЧ еще и лишается права на переписку.

Принято считать, что миф граничит с идеализацией культурного героя. Некоторые из элементов мифа НГЧ именно таковы, но они автору книги дороги, он их не дезавуирует. Это, к примеру, история о чтении пьес в ссылке: с пустыми листами, которые случайно обнаружил в руках другой заключенный; или не слишком известный рисунок, изображающий ссыльного НГЧ, чудесное изображение в профиль, где тюремная шапочка смотрится едва ли не как берет фламандского художника, а длинная заостренная жидкая борода и длинные же усы кажутся почти неприличным совпадением с хрестоматийным обликом Дон Кихота [1, с. 388], недаром НГЧ «в 55 лет уже казался стариком» [1, с. 411]. Впрочем, с Дон Кихотом, как и с Гамлетом, обусловленное направлением ветра безумие которого уже упоминалось, совпадает у НГЧ с самим принцип бинарности безумия и его внешних причин: «безумие ушло, когда окончилось притеснение» [1, с. 425]. И — апофеоз мифа, поддерживаемого в книге ВК ссылками на Н. Бердяева, Г. Лопатина и других: «русский святой, пустынник» [1, с. 413].

Перекодирование мифа строится у ВК на убеждении в том, что НГЧ всю жизнь «страдал от мифов о себе» [1, с. 106]. Буквально в самом начале книги, в эпиграфе — словах В. Соловьева — предлагается и другой состав мифа НГЧ; это «тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека» [1, с. 5].

Миф НГЧ и формируемый ВК *антимиф* вырастают из того многопланового контекста, о котором было сказано выше и к некоторым аспектам которого мы еще обратимся далее.

Фрагмент антимифа — физическая форма (сила) НГЧ. Кто бы думал о провинциальном очкарике, сыне священника как о любителе «больших и сильных ощущений» [1, с. 39], способном еще в школьном возрасте перетягивать «даже сильного, громадного роста своего товарища» [1, с. 40].

Одна из важных граней антимифа — оппозиция двух знаменитых, почти до анекдотической повторяемости доведенных вопросов: «кто виноват?» и «что делать?». Критично настроенный в отношении *русского Искандера*, ВК подчеркивает, что у *русского Сократа* позиция была конструктивной, в отличие от позиции его современника, ибо «Герцен предложил искать виноватого», а Чернышевский полагал, что «надо делать себя». Продолжая мысль о значимости и четкой сформированности контекста в исследовании ВК, надо подчеркнуть, что в единомышленниках НГЧ автор и здесь видит Достоевского, ссылаясь на его «пушкинскую» речь: «Не вне тебя правда, а в тебе самом» [1, с. 324–325].

В антимифе особое место занимает *христианская «ориентация»* НГЧ, причем не выражение его семейной традиции, а собственное, в т. ч. рационально явленное отношение к вере и вероучению, христианским устоям.

Развенчивая идеологически детерминированный в XX в. миф НГЧ, ВК акцентирует особый аспект нынешнего антимифа, аспект органического и интеллектуально насыщенного *приятия религиозной компоненты картины мира*. Отсюда — упоминания о «действенности православия» [1, с. 69], отсюда внимание к проблеме веры и циничного безверия при характеристике политических репрессий, несправедливо настигавших верующего православного писателя Достоевского и миновавших сатаниста Бакунина [1, с. 73]. Уже почти в конце своей книги ВК как само собой разумеющееся упоминает-повторяет то, что для «школьной» традиции (школьного мифа) казалось немыслимым: «Выросший в доме протоиерея, впитавший в себя основные христианские смыслы, которые звучат во всех его текстах...» [1, с. 464]. Следуя известной культурной традиции вслушиваться в предсмертные реплики великих людей и толковать их, поскольку сказанное бывает смутным, двусмысленным и всегда кажется символически значимым, ВК парадоксально трактует и реплику умиравшего и державшего в руках Библию НГЧ («Странное дело — в этой книге ни разу не упоминается о Боге» [1, с. 482]); несколько высокопарно, но небезосновательно ВК, апеллируя к другим эпизодам предсмертного бытия НГЧ, предполагает что книгой «без Бога» могла быть метафорически воспринимаемая Россия, «которую он читал всю жизнь» [1, с. 483].

Миф НГЧ, вызывающий у ВК резкое неприятие и активное стремление к его перекодированию, основан на политических экспрессиях, подчас, как

стремится показать автор, даже инсинуациях. ВК пытается очистить НГЧ от налета такого вот, прямолинейного, но уже ставшего стойким мифом, восприятия как человека с топором, по крайней мере, призывавшего к топору. Отталкиваясь от статьи Б. Чичерина, адресованной А. Герцену, и апеллируя к всплывающему в разговоре Ивана Карамазова с чертом топору, ВК негодует: «Но почему — топор? Топор — это мифологически обработанное в интеллигентском сознании оружие крестьянского бунта» [1, с. 222]. К вопросу об этом же, опасном и стойком мифе о борцах и разрушителях следует добавить и отрицание ВК мизантропии, приписываемой Чернышевскому [1, с. 238], и обсуждение «мифа» (именно так и написано [1, с. 245]) крестьянской реформы, а к *антимифу* отнести суждение о том, что НГЧ и Добролюбов был реформаторами, но не революционерами [1, с. 239]. Пугающим выглядит миф о «новых людях» — дело не в слове, а в понимании новой формации как символа «русской радикальной молодежи» [1, с. 341]; но ВК важно отметить, что они не преступные, просто другие [1, с. 342], а инаковость преследуется...

Анти-мифом видится настойчивое возвращение ВК к доказательствам того, что НГЧ не только к революции не призывал, но «всеми силами хотел избежать» [1, с. 248] и старался «предупредить молодежь от радикальных действий» [1, с. 261]. Отсюда последовательно приводимые ВК доказательства и высказываемые утверждения о том, что, во-первых, НГЧ *в эмиграцию не стремился*, как *не готов был* впоследствии к побегам из ссылки, а во-вторых, его арест и все последующие действия с ним были важны власти как инструмент воздействия на массовое сознание: «Если уж такую крупную и влиятельную фигуру можно арестовать среди бела дня, что уж говорить об остальных!» [1, с. 275]. Для ВК важно то, что НГЧ *не считал* себя политзаключенным, поэтому его *нельзя* называть человеком, который, находясь в Алексеевском равелине, первым в России провел политическую голодовку, более того, не хотел даже скандала: «никаких громких слов, никаких угроз, никакой экзальтации, — пишет ВК. — Скромность и достоинство...» [1, с. 316]. По мысли ВК, провокаторы и клеветники, интерпретаторы и простодушные поклонники подпитывали «мифологическое сознание власти», которая «старательно из Чернышевского делала революционера, почти декабриста, а из жены хотела сделать декабристку» [1, с. 283–284]. Автору исследования ясно, что НГЧ сознавал мифотворческую суету вокруг своей персоны, недаром он ссылается на послание Чернышевского к Санкт-Петербургскому генерал-губернатору А. А. Суворову и упоминает «слухи», «сплетни», подчеркивая что «миф — страшная сила» [1, с. 290].

Владимир Кантор, философ и прозаик, пишет «толстые» книги — с подробностями, отступлениями, мотивировками, цитатами. Он рассказывает истории — но это не нарратив, а диалог с теми, о ком написано, и с теми, кому адресовано. Он разворачивает судьбы, а судьба — это всегда контекст, ведомый далеко не всем и конструируемый автором по его научной и образной воле, и текст (жизни человека, его конкретного произведения) — как наивно полагает публика, ведомый многим. Адресат книги о Чернышевском очевиден, это, кроме коллег-профессионалов, еще и современнее молодые люди, живущие в среде массовой культуры с ее простодушными, но стойкими мифами, — те, о ком с незлой горечью пишет ВК: «...отравленные советским прочтением

Чернышевского, даже вообразить не могут того замиранья сердца, которое охватывало студенческую молодежь просто при виде их кумира» [1, с. 387]. Автор книги о судьбе Чернышевского это замирание сердца вообразил.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 528 с.
2. Сердюченко В. Чернышевский в романе Набокова «Дар» (К предыстории вопроса) // Вопросы литературы. — 1998. — № 2. — С. 333–342.
3. Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. — М.: КоЛиБри, 2015. — 896 с.
4. Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. — М.: Мысль, 1988. — Т. 2 / Общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. — 822 с.